

Ольга Медведкова

Три персонажа в поисках любви и бессмертия



Ольга Медведкова
**Три персонажа в поисках
любви и бессмертия**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63512862

*Три персонажа в поисках любви и бессмертия Роман: Новое
литературное обозрение; Москва; 2021
ISBN 9785444814352*

Аннотация

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с... В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг... Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут... Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам. Так что же между ними общего? Лишь одно. В неразберихе обстоятельств и событий все трое ищут любви и бессмертия.

Ольга Медведкова – прозаик, историк искусства и архитектуры, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции.

Содержание

ИВОННА	5
1	5
2	14
3	20
4	26
5	35
6	38
7	48
8	56
9	63
10	76
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Ольга Медведкова

Три персонажа в поисках любви и бессмертия Роман

ИВОННА

1

Постучали и вошли, как всегда, не дожидаясь ответа. Она не знала, так никогда и не узнала, должна ли была отвечать. Никто ей этого не объяснил. Но поскольку входили всегда, не дожидаясь ответа, то она решила, что отвечать не обязательно, а может быть даже и не разрешается. Вошли втроем, но говорил только Главный. Двое других стояли за его спиной несколько поодаль. Так что она видела только половину головы и туловища левого и правую ногу и куаф правого. Нога была в красном, а куаф зеленым. Нога и куаф принадлежали шуту. Подумала: как у Чибиса. У нее в клетке на окне жил попугай Чибис. Точнее Чибис Второй. Красная нога переминалась с пятки на носок, и круглая пряжка с бубенчиком на высокой шутовской туфле поблескивала то так, то эдак. Солнечный зайчик егозил по стене то назад, то вперед. Заметила,

но головы не повернула. Этого не разрешалось, это она знала. Это было то, что она знала наверное. Слов Главного сначала слушать не стала, а только с середины, а там уже пошло перечисление вещей, которые она могла взять с собой. О попугае не было ни слова. Значит, его брать с собой не разрешалось. Только пять парадных туалетов, из которых все пять черных. И Главный тоже был в черном. Только шут был в своем шутовском: красном и зеленом, попугайном.

Поняла, что уезжает. Отсылают. Няня рядом задышала. Ей тоже захотелось задышать, но она знала, что нельзя. Главный замолчал и поправил ленту, накрест перечеркивавшую его квадратную грудь. Она вспомнила, что он точно так же поправил ленту, когда объявил ей о ее совершеннолетию. Тогда это было после прихода врача, когда ее осматривали. Главный кашлянул. Трое повернулись на месте и вышли. Няня снова задышала, уже вслух и, подскочив к ней сбоку, стала ворошить руками юбку. Няня была толстая, короткорукая, зачем она так ворошила? Лицо у нее было мокрое, некрасивое. Няню в числе того, что можно было взять с собой, не называли. Она значит оставалась с Чибисом. Это она догадалась.

– Ты его, главное, не забывай поить.

– Ох, голубушка моя, Ивонна.

Няня снова пристроилась сбоку ворошить руками юбку. Потом обе руки себе закинула на грудь и стала кашлять.

– Не кашляй, няня.

Ей тоже хотелось кашлять, но было нельзя.

Только няня говорила ей Ивонна. Она не знала, было ли то именем или прозвищем, данным ей няней. Никто другой так ее не звал. И вообще никак никто не звал. Ее никогда никуда не звали, а только говорили: Ваше Достоинство или Ваше Девичество. Она понимала, что это о ней, про нее, но никогда не отвечала – я. А только говорила – она. Она услышала. Она поняла. Она будет.

В некоторые дни, когда ее наряжали по полному параду, когда замок открывали и впускали других, не тех, к кому она привыкла, и кто жил с ней внутри, или когда ее выносили на помосте из собора, сидящей в кресле и привязанной к нему, и показывали крестьянам и горожанам, тогда ее называли целым длинным списком, который она никогда не дослушивала до конца. Да и начало тоже слушала едва.

– Ивонна, голубка.

В этот день ее больше не беспокоили.

На другой день с утра пришли три ее арапки. Стали раздевать. Раздевали долго, потому что утром няня одела по полному. Ей, видно, не сказали. Или сказали, но не то. Снимали медленно. Никто не спешил. Одну за другой все три прозрачных верхних накидки, воротник, доходивший до подбородка, расшнуровали корсаж, рубашку через голову. Рукава отдельно. Юбку, которую сверху. Потом снизу другую, короткую. Туфли. Чулки. Она стояла теперь без всего. Босыми ступнями на шершавых керамических плитках. Будут мыть. Но в туалетную не повели. И журчанья оттуда не слышалось.

Ничто не плескалось. Не наполнялось, не брызгалось и не пахло серым мылом, сваренным из пепла, которое хотелось полизать, но не разрешалось, и которое шершаво скребло до красноты. Нет, мыть не будут. Зачем же тогда сняли кольца с пальцев? Серьга справа не поддавалась. Воздух трогал кожу. Она заметила сверху свои розовые сосцы и под ними прямо вниз – длинные белые ноги. Но смотреть туда не разрешалось. Она стала смотреть вперед. Перетаптывалась, переминалась едва заметно. Это она умела, потому что часто приходилось подолгу стоять и ждать, одетой или раздетой. Это было то, что она делала, умела делать : стоять и ждать или сидеть и ждать. И даже не ждать, а все же стоять. Или сидеть. И вот так смотреть вперед. Смотреть именно перед собой, по оси и по прямому горизонту. Или делать вид. Главное, чтобы между глазами и спиной был прямой угол. Так ее научили. И не хмурить брови, не собирать лицо вокруг губ, но и не растягивать. Не шевелить лицом совершенно. Это она умела. Еще она умела так быстро изнутри провести языком по зубам, чтобы никто не заметил. А может они замечали. Но ничего не говорили.

Одна из трех арапок подставила ей сзади спину, и она на нее оперлась. Никто не знал, можно ли это, но они иногда так делали, когда ждали, и когда никто не видел. А другая арапка стала ей закреплять волосы к затылку, чтоб не ерзали по спине. Волосы были длинные, щекотные. Что с ней сегодня будут делать? Арапки разговаривали на своем языке.

Она ничего не понимала. Они смеялись между собой. Им было можно. Всем было можно дергать щеками и пыхтеть, и часто дышать, а ей нельзя. Она была другой расы, другой крови. Одна из трех вдруг к ней наклонилась и взяла в свой большой рот ее розовый сосок. Она испугалась, что сейчас откусит. Но та сверкнула черным глазом и выплюнула.

Ногам стало холодно.

Постучали, вошли. Это был доктор. Она его знала. Он был старый и толстый, как няня. Он осматривал ее тогда, когда у нее в первый раз заболел низ, и потекла кровь между ногами. Он ее тогда посадил, открыл ноги и все там трогал и смотрел. Ей было больно от его толстых пальцев. Вскоре после этого пришел Главный и объявил ей, что она взрослая. А няня сказала: Ивонна, голубка, теперь тебя в любой миг ушлют отсюда в замуж. Наверное, в туда ее теперь и отсылали.

За доктором вошли еще другие. Но те остались стоять у дверей, а только доктор и еще один приблизились. Второй держал в руках планшет и сразу в него уткнулся, и локоть его стал скакать и ерзать вверх- вниз. А руки видно не было. Доктор стал вокруг нее перемещаться по круговой. Осматривал и надиктовывал тому, кто скакал локтем за планшетом. Доктор поднимал ей руку, потом другую. Наблюдал везде и тому с локтем произносил, где у нее какие отличительные признаки и родинки. Она не двигалась. Было нельзя. Смотрела прямо перед собой, туда, где ничего и никого не было. Даже когда ее купали, нельзя было смотреть в воду на отра-

жение. Запрещалось. Она, конечно, могла бы быстро, незаметно взглянуть, но было незачем. Водить тайно языком по зубам нравилось больше. Было еще несколько штук, которые она научилась проделывать втайне.

Доктор продиктовал, что под левой мышкой было пятно величиной с просяное, цвета корицы. И на левой же лопатке покрупнее и темное. И на щеке, на правой. Еще что-то продиктовал про капиллус венерис.

Потом они ушли. Пришла няня. Опять ее одела, охая и чмокая толстыми губами, брызжа на нее слюной и лупясь красными глазами. Потом стала себе глаза эти тереть.

– Ну на кого я похожа, старая дура.

Вот вопрос. На кого няня похожа. Лицом, конечно, на перезрелое яблоко, забытое на ветке. А походкой на ворону за окном. А она сама на кого похожа? Кроме няни и арапок, других женщин в замке не было. По крайней мере, она никогда их не видела. Она чуть было не спросила у няни, правда ли, что ее отправляют в замуж, но спохватилась. Это запрещалось. Да и к чему? Разве знать что-то заранее было зачем-нибудь нужно. Разве это что-то могло изменить.

Постучали и вошли.

Это был шут и другие, оставшиеся стоять у двери. Няня ушла. Когда приходил шут, та всегда уходила. Шут приходил каждый день, или почти. Он строил морды и гримасы почище, чем няня, звенел бубенцом и кувыркался. Она сидела в кресле с прямой спиной и смотрела, но не на него, а немного

повыше. Главное было – пока он так представлялся, глядя на него – не растягивать лица и не гримасничать вслед за ним. Это было непросто. Облокачиваться также не разрешалось. Он что-то говорил, но она не слушала. Это она тоже умела: слушать и не слышать. Не то, что смотреть. Куда она смотрит, было заметно. Но она умела смотреть и не видеть. Потом все ушли. Осталась одна арапка лежать на полу у двери.

Она подошла к клетке Чибиса Второго. Чибис Первый исчез прошлым летом. Было жарко. Она тогда вошла в комнату и сразу заметила, что клетка пуста. Ей ничего не сказали. А на другой день в клетке появился Чибис Второй. Она догадалась, что это был новый, другой Чибис. Но остальные, даже няня, которой все разрешалось, сделали вид, что это был тот же Чибис, что и прежний. Хотя очевидность подмены бросалась в глаза. У нового были зеленые лапы, голова гораздо больше, и глаз смотрел не так, как у прежнего. Так что только она называла его про себя Чибисом Вторым, а все остальные вообще никак не называли. Что про все это знала и думала няня? Она ли сама подменила или кто другой? Чибис Второй посмотрел на нее своим ягодным ядовитым глазом, поднял ту лапу, что была поближе, потряс ею и стал чесаться, точно так же, как и прежний.

Что сделалось с Чибисом Первым? Куда он только подевался. Как незаметно подменил его Чибис Второй. И можно ли было так же подменять людей, одного на другого, даже не предупреждая заранее. Вот ведь когда прежний шут пропал

из замка, испарился со своим куафом и чулком, его заменили на такого же, с чулком и куафом. А что если вдруг сам Главный пропадет. А вдруг его тоже подменяют? И будут так же при его появлении на людях произносить весь список его названий, начинающийся с Главного, а дальше она не слушала. Подмену одного шута на другого, такого же на похожего, все же сразу стало видно. Хоть бы по разнице носов. Хотя посмотрела она быстро. Когда он при ней шутил, она на него не смотрела, смеяться же не разрешалось. А няню если вдруг подменяют? А если и ее саму подменяют? Нет, вот это как раз было невозможно. Она ведь была такая одна. Не такая – такая, как няня или попугай, или как шут с чулком. Не такая отдельно. А такая в целом, вообще, по рангу – такой расы. Такой крови. К ней одной обращались на Ваше и Ее, ее одну показывали, одевали и раздевали при всех, раздвигали ноги и трогали, потому что среди тех, кто ее окружал, никого не было такого, чтобы был такой, как она. Кто находился бы на такой же высоте. Вне досягаемости. Равных ей не было. Все остальные были ниже. Никого не было, кому столько же всего было бы нельзя. Чей бы любой жест и движение, даже губ и бровей, столько бы всего означали.

Существовал ли где-нибудь, далеко, еще кто-то, кто был такой же крови? Такой же как она не-такой. Существовал, дело понятное. Ведь предполагалось же выдать ее в замуж. Для того ее и отправляли теперь куда-то. Она пока никуда еще не уезжала дальше чем до города, стены и башни кото-

рого виднелись из ее окна. Да еще до деревень в округе. Далеко ли ее теперь вышлют. А куда. Будет ли там замок, поле и лес вдалеке. Такой же город с собором на площади и с колокольней.

Стены города в окне были почти столь же серыми и высокими, сколь замок, в котором она родилась и выросла. Но из окна город был не больше ее мизинца и казался голубым. Когда ее возили туда на праздники, показывать на площади или на хорах собора, карроцца бывала закрыта, и окно в ней занавешено, так что она, пока ехала, могла посмотреть только в щель. Сейчас был конец лета. Поля были скошены. Трава в щель была пыльная, вялая. Если так же повезут туда, вдалеко, в занавешенной карроцце, ничего она, кроме тусклой травы, не увидит.

Арапка захрапела, потянулась во сне во всю свою черную длину.

2

На следующий день в капелле замка служили мессу. Она сидела на хорах и смотрела сверху на капеллана в фиолетовой шазюбле с белыми черепами, свечами и капельными слезами. Кто-то явно умер, но кто – ей не сказали. А Чибис-то Первый, наверное, в окно тогда улетел, если клетку забыли закрыть. А может и он тоже умер. Она однажды видела, как умерла лошадь. Она стояла привязанной к дереву, внизу, во дворе замка. Подошел человек и стал ей трогать шею. Она сразу подумала, что что-то случится. Лошадь упала на колени, и она поняла, что лошади больно, как когда она сама однажды так же упала на колени, зацепилась за юбку и упала. И когда смотрели, раздвигали, трогали. Когда кровь текла между ногами. А за ночь все высыхало и больше не болело. А лошадь, упав раз, уже больше не встала, не двигалась, лежала, и потом ее утащили. По земле прочертился след от ее тела. След потом еще несколько дней длился.

Когда месса закончилась, Главный говорил с капелланом. Она ждала на хорах, когда придут забирать. Люди снизу смотрели на Ее Достоинство и на Ее Девство. Разглядывали. Надо было сидеть неподвижно. Хотя сильно зачесались пальцы ног, зудели просто в тесных чулках и туфлях. Как будто туда к ней в чулки муха какая залетела. Она вообразила себе муху. Захотелось посопеть. Хотелось встать и по-

стучать ногами по фигурным плиткам пола, белым, красным и черным, складывавшимся вместе в фигуры. Но смотреть в пол было нельзя. Потому что тогда опускались веки, а ей веки опускать было запрещено, потому что те снизу могли подумать, что она спит. Или даже что она умерла. Она могла смутить этим тех, кто смотрел на нее снизу. Она незаметно, под двойной плотной юбкой, почесала одну ногу о другую. Было приятно. Но недостаточно. Еще почесала, потом еще, чуть-чуть, так, чтобы верх не двигался совсем. Получилось. Была у нее такая сноровка.

Смотрела при этом как полагалось, по горизонту. Глазами и носом вперед, туда, где в отдалении, в витраже алтаря виднелся Распятый. Над ним – Сам Белобородый в синем панцире. Между ними – птица голубь, тоже белая. Внизу – там, где крест выростал из горки с черепом, как на шазюбле, стояли на коленях люди, построившие этот замок и эту капеллу, в красных, синих и зеленых плащах и чулках, в черных и белых платьях, а за их спинами стояли их святые ангелы с разноцветными, как у Чибиса, крыльями. И святой Рох стоял там со своей собакой и голыми коленями, он мог лечить любые болезни, если его об этом просили. Так ей няня объяснила. Рядом стояла святая Кекилия со своей музыкальной арфой. Но святой Ивонны не было. Да и была ли вообще такая. И было ли это ее имя, или няня просто так придумала ее называть, чтоб покороче было, чем по списку. И чтоб говорить ей ты, а не она, как все другие. Ведь придумала же

она называть попугая Чибисом.

– Няня, почему ты назвала попугая Чибисом?

Они шли по проходу, соединявшему капеллу с башней, в которой она жила.

– А это, детка, по сходству. Как его принесли, так ни дать ни взять был чибис.

– Ну в чем? Где было сходство?

– Так в хохолке ж, Ивонна.

Няня задышала, захохотала. У нее самой защипало в носу. Вот бы и ей так же. Слово хохолок было щекотное. Но было нельзя. Не поворачиваясь, она косо взглянула на ухающую няню. Было тут что-то неясное, что связывало нянин смех и чибисово имя. Что-то одновременное и смежное, что позволяло няне так смеяться и называть вещи и людей всякими разными именами. А ей запрещало.

– Хо-хо-хо, – пыхтела няня. – Хохолок, да еще эта сизоватость с отливом по шее. Покажу тебе. Вот увижу в окно и покажу. Хотя чибиса не так легко застать врасплох. Он врасплох, а враз и хорош.

Опять задышала:

– Хо-хо-хо.

– Няня, а почему ты меня Ивонной зовешь? – решила она вдруг, поднимаясь уже по лестнице.

Было трудно переступить с одной высокой, выщербленной ступени на другую, не цепляясь при этом за подол длинной узкой юбки. Надо было, чтобы не упасть, смотреть себе под

ноги. Значит веки опускать. Так ведь нельзя. Но тут никто не видел. А няня сзади подталкивала в спину. Поддерживала за накидку. Сама-то поди юбку задрала чуть не до ушей.

– Тоже по сходству?

– А как же иначе, по нему, по-задушевному.

– А с чем же по сходству, няня?

Чуть не упала, едва удержалась. А та заквакала сзади, за-тарыхтела, перестала толкать в спину. Опять, видно, смеялась. Они вошли к себе, и, обернувшись, она увидела, что няня не смеялась, а плакала. Все ее яблочное лицо было собрано в мокрые красные морщины.

– Ты что, няня, разве можно так. Что ж ты плачешь?

– А то плачу, что по сходству, то-то и есть.

Между именем и плачем, как между именем и смехом, тоже, значит, была тайная связь – сходство, длинное, как проход между капеллой и башней.

– Никто тебе никогда не объяснил? Как же так? Как же так?

Няня стала мелко приседать на месте.

– По сходству с папенькой твоим, вот с кем. А того-то звали Иво. По его святому Иво, стало быть, вот так-то. Был такой Иво, ох уж и защитник. Святой, то есть. Вдов и сирот всех спомогал под чистую. А еще и по дереву. Но это уж, голубка, между нами. Ты меня не выдавай. Так мне сказывали. По сходству с деревом, но не прямо, а в дальней надежде. А дерево это прозывается ив, а по-другому, по-нашему, тис

– оно же есть как елочка, да только иголки короткие и мяконикие, а ягодки красные, как вот у твоего Чибиса глаза. А их есть нельзя, отравя. Само ж дерево растет себе и растет тысячу лет и все не умирает, а живет дольше всех иных деревьев на свете. Внутренность его тем временем постепенно истлевает, и никто уже сказать не может, сколько тому дереву лет. А только страсть как много. Так оно, дерево-то, изнутри себя бессмертное, ибо пустое. Растет вокруг пустоты. Из его коры делается лекарство такое, чтоб долго жить. А то и всегда. Такое вот дерево одновременное – ягодками убивает, а корой воскрешает. И вот, стало быть, назвали папеньку Иво по сходству впрок с этим долголетием.

Тут она опять принялась рыдать.

– По дереву. А меня, что же, тоже по дереву?

– Ну да, и тебя. А еще чтоб народ мог кричать, как тебя завидит: И-вон-она! Вон-она!

И няня стала смеяться. Между ее плачем и смехом уже ничего разобрать не было возможности. А народ разве и-вон-она кричал? Она не слышала. Не слушала. Тут няня опять принялась капать из глаз на пол. Она хотела еще у нее другое кое-что разузнать, но не стала. Уж слишком много было от няниных объяснений охов, и шума, и мокроты. И вообще-то расспрашивать не дозволялось. Не было такого, что другие б знали, а она нет. Она особенно и не спрашивала, знала, что знала. То, что ей другие говорили, или о чем она догадывалась, наблюдая. Хотя и наблюдать особенно не доводилось.

Потому что в ее присутствии мало что происходило. Так было положено. Один из ее титулов был Непреложная. Что это означало, она точно не знала. Но что-то важное. Неложное. Правдивое, справедливое. Праведное. Неотложное, то есть срочное. Или же бессрочное. Так было у них заведено. Все это знали. Так было правильно. Так было лучше от веку. Так было лучше всегда. Всегда. Это всегда было главное. Внутри него можно было поменять одного чибиса на другого. Но основное вовеки, всегда, ад этернам, должно было быть постоянно одним и тем же, находиться в одном и том же месте, на одном и том же ложе – непреложно. Так был устроен мир.

Как у колокольни был шпиль, а у шпиля золотая верхушка, а на верхушке вертушка в виде флажка, так у их княжества, у их города и окрестных деревень была она – Непреложная.

3

Опять пришли. Арапка принесла то платье, черное, что было сказано брать в дорогу. Но не надевать сразу, а сказано, чтоб брать с собой. А надевать в дорогу другое. А теперь велели вдруг, ни с того ни с сего, это черное зачем-то надевать. Значит не сразу еще уезжать, не сиюминутно. В дорогу, сказали, завтра. А теперь повезут народу показывать, в город. Долго мыли. Вытирали. Усадили. Стали, как всегда, красить лицо. Намазали толстым слоем белила. Так что всю кожу до волос стянуло. Стало чесаться, но чесать совсем было нельзя. Поверх покрывали румянами. Стали водить углем вокруг глаз. Потом рисовали по губам. Зачесывали и маслили волосы. Масло и краски на лице застывали как маска. Она там под ними и спряталась – невидимкой. Могла теперь сколько захочется вволю водить языком по зубам. Отчего бы даже не осмелиться, и с наружной стороны не поводить. На что она была при этом похожа, было непонятно. Но ведь красили не для нее, а для них. Для тех, кто внизу. Потом трясли в карроце. Смотрела в щелку на пыльную, вялую, серую траву.

Показывали в соборе.

Народ кричал что-то, плакал и смеялся. Все было в народе, как у няни, перемешано. Потом вынесли наружу и на площади перед собором поставили вместе с креслом на постамент. Прямо перед фасадом, лицом к дверям посадили.

Она застыла под прямым углом. Смотрела на фасад собора, благо глаза ей не так сильно в этот раз покрасили. А то иногда так малевали, что и век не поднять. Но и опускать их тоже ведь не разрешалось.

А народ все ходил внизу и ходил. Народ останавливался перед помостом, склонялся перед ней и тянулся к ее туфле. Некоторые только трогали пальцами, но другие, почти все, целовали. Туфля была шитая жемчугом, с круглой пряжкой. От слюней целовавших она вся промокла. Такая туфля была одна. Специальная – для целования. Их таких у нее было несколько, такого цвета, какого требовалось по празднику. Но они были все правые. На левой ноге, спрятанной под юбкой, туфля была обычная, черная, парная; ее правая сестра осталась в замке. Чаще всего трогали и целовали медную пряжку. От поцелуев пряжка блестела как золотая. Ей захотелось поменять ногу. Эту убрать под юбку, а спрятанную там, черную, вдруг выставить наружу. Но это было запрещено напрочь.

На народ внизу смотреть тоже было нельзя. То есть можно было сверху посмотреть на всех сразу, вместе, но ни на кого в отдельности глаз опускать было не положено. Она и не опускала. Смотрела из-под балдахина на фасад, весь в фигурах. Там совершался Страшный суд. С одной стороны сидели в раю святые. Они помещались на коленях у отца их Авраама и изображались как запеленутые младенцы. Другие святые стояли, расчесанные и бородатые. Тут же была и са-

ма их Матер мизерикордия. В центре сидел в огромном медальоне ее Сын. А с другой от него стороны, об левую руку, бушевали демоны и грешники. Пока народ внизу целовал ей туфлю и пряжку, она смотрела на этих, на фасаде, разделенных пополам по вертикали на благих и грешных. Внизу никто разделен не был. Все было внизу перемешано. И раздел тут проходил наоборот, по горизонту – между ней одной и ими всеми прочими. Об этом – то есть о смысле раздела – она бы у капеллана, может, все же и спросила, но он бы ей не ответил все равно. Она и берегла вопросы для более важных okazji.

Смотреть на Страшный суд она любила, хотя все наизусть уже знала, поди не глупая. Вот над Сыном в вышине открывалось окошко, из него торчала рука. Рука ему двумя своими пальцами до головы дотрагивалась. Тут же была голубка, между рукой и головой. Хохолка у голубки не было, потому как был это спиритус санктус, из руки в голову перетекавший. А из головы тот спиритус во все уже тело сыновнее, до самых его ног струился. А из правой ноги, которой касался святой архангел, спиритус переходил напрямую в тех, кто помещался в раю.левой же ноги Сына никто не касался, и потому тут слева творилось безобразие. Если думать, как няня, по сходству, то можно было понять и разобраться, почему она давала целовать народу правую, бархатную, а не левую, черную, ногу. Это чтобы весь народ ее был чистый и благий. Чтоб не было среди него разбойников. Только было

непонятно, можно ли было так по-нянинному думать.

И еще был такой вопрос – откуда тогда втекал спиритус санктус в нее. Это было непонятно. Если смотреть, как няня, по подобию и сходству, то он должен был проистекать от руки сверху, то есть от Патера. Но что няня могла понимать в таких вещах. В таких сложных устройствах и разделах между верхом и низом. Вот Сын на фасаде: одна рука трогала его сверху, а другая одновременно снизу. Он был схвачен между двух рук. А ее саму, когда народ трогал снизу, то сверху – никто. Там сверху был только балдахин. А над балдахином пустота. А еще если думать по-нянинному, по подобию, то тогда ведь и Сын на Мать не походил вовсе. Особенно в размерах. Сын был огромный, а Мать его крохотная, как и прочие святые. Он был гигант, один такой на всем свете. Даже верхняя рука отца казалась рядом с ним совсем маленькой.

Лицо под белилами мокло и чесалось. Водить языком по зубам изнутри надоело и не помогало вовсе. Можно было попробовать снаружи, но это было все-таки опасно. Лицо могло сморщиться, а белила даже и потрескаться. Что бы тогда случилось, там внизу. Что-то ужасное. Если бы она потрескалась и неподвижности своей изменила?

А сама-то она была кто такая? И была ли она такой, как никто другой, ни на кого не похожей, раз и навсегда? Вот попугай был как чибис. Через это – как – были они связаны. Как – было что-то важное. Важно было быть – как. Напротив как, стояло никак. Пустота. Никак было страшное. Попугай

был как чибис, но никак не как голубка. А может у нее над головой с масляными волосами, поверх балдахина, была не голубка, а красно-зеленый шутовской попугай. Может в нее спиритус из него втекал. Может существовал такой спиритус, не голубиный, а попугайный. А что? Ведь умел же чибис сальву-реджину наизусть клювом выцокивать.

Как долго еще так сидеть?

Ее сняли наконец с помоста вместе с креслом и понесли на плечах. Ногу с пряжкой можно было задвинуть, но ничто в ней уже не двигалось. Нога не слушалась. Так она ее и оставила, где та была. Качало сильно из стороны в сторону, как всегда в таких случаях. Кричали виват и еще что-то. Может быть, кричали и-и-вон-ону, да она не слушала. Белила клеились по шее. Ее тошнило. Ее чуть не уронили на повороте. Пронесли через площадь, по главной улице, до госпиталя, показали смотревшим в окна больным. Потом до самых городских ворот, за которыми начиналось кладбище. На воротах изображались разные фигуры. Она вскользь посмотрела, не останавливались. Были там звериные морды. Но уже поворачивали. Обратно уже несли.

Потом в замке, у себя в комнате, она долго ждала, чтоб пришли раздевать. Но про нее, видно, забыли. Сидела в кресле у окна, смотрела, скоро ли листья начнут желтеть и падать. Скоро ли все высохнет, завянет, потом почернеет и застынет на зиму. Зимой ее на площадь не носили, не показывали. Только в соборе, но и там было холодно. Няня

куда-то подевалась. Все куда-то пропали. Хотелось что-то съесть и попить. Пить особенно хотелось. Внутри живота было пусто и больно. Наступала ночь. Город зажигал огни, а у нее не зажигали. Попугай в клетке твердил – вита дульчедо эт спес ностра сальве. Потом стал чесать себе голову, как собака.

Палатку взгромоздили на повозку. Она была из досок и ковров. Внутри на два железных крюка подвесили постель. Ее туда уложили. Впереди Главный на лошади, с доктором, с капелланом и с другими, а всего их шестеро с охраной. Шута не взяли. Другие шестеро сзади, тоже верхом. А посередине – палатка на повозке. Внутри она покачивается, и с ней вместе три ее арапки. Эти спали на полу, на досках. Няню не взяли, а попугая Чибиса зачем-то в последний момент прихватили. Хотя его, как и няни, в списке не было. Он раскачивался в своей клетке, твердил – а те кламабус а те супирабус. То-то и оно. И собак взяли двух гончих, чтобы спали с арапками на полу. Няня, наверное, там в замке плакала, что ее забыли. А может и смеялась. Как бы она тут в палатке поместилась, толстая такая? Как бы раскачивалась.

Тут в палатке окон не было, но между двумя коврами впереди был зазор. Побольше, чем щель в карроце. Туда лежа можно было подглядывать и там, в промежуток, видеть крупы двух к ней ближних лошадей. Крупы были серые и круглые, один на другой загнутые и с хвостом, и шевелились. Иногда один из двух хвостов задирался, и из образовавшейся дырки падала черная лепешка. Она обдавала запахом. Запах ей нравился. Хотелось лепешку потрогать. В том, во что ее одели, было тесно и жарко. Не так неудобно, как обычно, но

все же очень затянута, и чесалось. Вот бы раздели. Хотелось есть и попить. Хотелось, чтобы наконец остановились.

Наконец остановились. Ее сняли. Три арапки, две собаки и она сама вышли наружу. Только попугай внутри остался. Она едва не зажмурилась, так тут было ярко. Солнце прямо над головой. Небо не голубое, а синее. Площадь заросла травой. Тихо тут было; никого тут не было. За площадью – дом большой. Все туда направились. Не доходя до дома, арапки установили стул с дыркой и горшком под ним, усадили ее и оставили, но ей совсем не хотелось. Зато смотреть можно было повсюду. Она повертела головой. Было приятно. Вспомнила лепешки лошадей, и как им тоже было верно приятно, когда они так падали, и вдруг сделала. Ее вытирали и мыли. Горшок понесли доктору показывать.

Пошли в дом. Там стол был накрыт, видно их ждали. Ее усадили отдельно спиной, а всех остальных вместе, лицом. С ней рядом доктора. Он стал все отбирать, отрезать и пробовать. Потом пришла одна арапка, стала жевать и пожеванное класть ей в рот. Она глотала. Так пять или шесть раз. Было невкусно. Но внутри наполнялось. Потом дали пить вина, смешанного с водой. Живот потеплел и успокоился. Вот он, спиритус санктус. Потом ее опять сажали, вытирали, мыли. Потом чем-то мазали, но чем непонятно. Погрузили заново в палатку. Снова закачалось, затряслось, захрустело, задергалось, запахло теплым крупом. Она заснула. Ей приснилось, что она внутри полого дерева без сердцевины, и что слышен

стук топоров. Она подумала во сне, что то ли ее высвободят, то ли этими топорами зарубят. Но страшно не было.

Так они ехали и тряслись. Смотреть было не на что, только на крупы. Она то засыпала, то просыпалась. Потом все изменилось: стали ползти вверх. Одна арапка легла ей в ноги, чтобы она вниз не съехала. Подставила ей под ступни свою круглую спину. Собаки урчали во сне и дергали лапами. Она опять заснула.

Вдруг остановились, разбудили, что такое. Собаки разла-ялись, вроде няни, завияли серыми, гнутыми хвостами. Ее вынули и положили наоборот, и другую арапку опять в ноги. Понятно стало, что теперь они спускались. Не глупая ведь. И так стали ехать то все вверх, а то вдруг вниз. Потому ее и перекладывали. Потом почему-то перекладывать перестали, только две арапки улеглись, одна в ноги, другая в голову. А третья с собаками на полу. Когда голова ее была внизу, в зазор между ковров было видно, как на лошадях трусили Главный, и доктор, и капеллан, и охрана с алебардами. А когда вверху, то видно было небо, такое синее, как у них оно бывало только в соборе, на витражах. А настоящее небо у них дома было серое или на худой конец зеленое. А таким синим не бывало никогда. В небе тут были птицы. Одни летали прямо, другие зигзагами. Зигзагами летали ласточки, она их узнала, няня еще так руками разводила, когда ей показывала. Дорога и пыль от копыт и колес из серой стала розовой. Деревья тоже тут были другие, высокие и черные, как

пальцы, тычущие в небо. Раньше она таких не видала.

Опять останавливались, но только чтобы спать. Спать в большой кровати в доме было приятно. У нее болели колени и в спине.

Когда только еще высаживались, их вышли толпой встречать. Но не народ. Она догадалась, что это был здешний Главный или даже Непреложный их, ей не сказали, а сказали только – Принчипе, и по кругу от него был его придворный люд. Ее же взяли под руки и подвели к нему навстречу под легким балдахинном. Солнце пекло, и свет был опять очень яркий в глаза. Сильней, чем было нужно, чтобы видеть и не щуриться. Это было новостью, надо было приспособиться – чтоб на яркость отвечать неподвижностью. Принчипе их был старый, с белыми волосами, но стройный, как ее арапки, и одет в короткое – так что круп его был виден, как у лошадей. Камзол был такой развышитый, богатый. Руки в кольцах и перстнях, как у нее.

Ее повели отдельно. Раздели. Мыли. Было приятно. Она уже лежала в постели, вытянув ноги, почесываясь, как вдруг в комнату вошел зверь, остановился напротив и стал смотреть на нее своим волосатым, как будто человеческим, даже детским лицом. Она закричала, арапки проснулись. Поймали зверя. Стали смеяться. Пришел доктор, сказал, что кошка, что это она в сумерках. А она испугалась, приняла за дьявола. Очень болели ноги. Арапки ей их мяли, и потом ей хорошо спалось.

Утром одели, объяснили, что поведут к Принчипе. Было странно, что заранее сказали. Неужто за него в замуж? Он опять был в коротком: вышитом, но в другом. По камзолу его шли такие серебром цветы. Он ходил вокруг нее, разглядывал, как будто доктор. Потом отошел на расстояние, взглянул еще раз и, обратившись к Главному, произнес негромко – ита эст.

– Она? – переспросил Главный.

– Она, – повторил Принчипе.

А кто она, что она, никто объяснять ей не стал. Однако видно было, что между собой они друг друга понимают. Но она, это дело другое. Другое, что было заметно, что Главному то, что она – она, понравилось не на шутку. Хотя и глазом не повел, а видно было, что крайне доволен. Тут этот Принчипе встал на одно свое старое стройное колено и ей край рукава поцеловал. Потом с колена выпрямился, подошел к окну церемонно, махнул рукой, и народ на улице стал кричать виват. А зачем кричали, она не знала. Если б няня с ней поехала, то она бы, может, кое-что разузнала, разнюхала и ей подсказала, но няни не было. Наверное, затем и не пустили, чтоб она тряслась одна в темноте, с арапками да с собаками.

Ей захотелось присесть. Что дальше будет? Тут в замуж оставят что ли, потому что она – она. Или, что ли, – по тому же поводу – назад в палатку поведут, уложат и опять вверх-вниз потащат? И сколько еще так ехать, неизвестно. И куда. Никуда пока не повели. А Принчипе ее проводил в другую

залу, такой она никогда раньше не видала. Кругом по стенам были не ковры, как у них дома, а прямо на известке нарисовано. И не то чтоб Страшный суд, или какие святые, или из древности, а люди как сейчас. Не народ, конечно, а люди. Один из нарисованных был похож на самого живого Принчипе: в коротком, расшитом, с округлыми заметными ягодичами и в белых кудрях по плечам. Но такого быть не могло. Или могло? Она раз-раз глазом быстро на него, потом, раз, на стену. И обратно. А ведь было нельзя. Она сразу поняла, что Принчипе заметил. Он так тихонько, тайно ей кивнул. Такое с ней случалось впервые. Но и обстоятельства были другие, может быть в дороге больше разрешалось.

И верно – дальше больше. Он провел ее в другую смежную длинную комнату, похожую на ту галерею, что у нее в замке осталась. Но их галерея была закрытая, темная, а тут с одной стороны были полукруглые проемы, и в них было видно все вокруг, это самое их синее небо, она уже к нему начала привыкать, в нем черные пальцы деревьев и не слишком высокие, треугольные красные горы. От всего этого, непонятно почему, у нее внутри было как от вина с водой, тепло и сладко – спиритус прямо до самых ступней. И пахло чем-то как будто съедобным.

А с другой стороны галереи, на стене, на отдельных как бы досках стояли или сидели разные люди, как мужчины, так и женщины, и опять видно было с первого взгляда, что отнюдь не святые. Что-то в них было прямо, как сказала бы няня,

сходственное. Хотя может вовсе и не грешники. Поди знай, где им место – справа или слева.

Тут Главный с капелланом и с остальными подошли. Она уже и думать про них забыла. Рядом с этим старым шустрым Принчипе с обтянутым крупом те, свои, казались черными, неповоротливыми. Не приблизились, а остались стоять поодаль. Она опять, раз, глаз скосила – вдруг Принчипе поймет. А он возьми и понял. Нагнулся к ней и прошептал: имаджинибус. Она и сама видела, не глупая. Догадалась уже. А вот кого имаджинибус-то. Не святых же, не героев древних. В одеждах богатых и с перстнями на пальцах. В прическах. И главное, глазами смотрят прямо в лицо. Так смотрят, как смотреть не разрешается. Как тот зверь мохнатый кошка, что вчера к ней в комнату забрался. И что они так смотрят-то?

Ей опять стало страшно. А Принчипов левый глаз, тот, что к ней ближний, так, раз, и ей улыбнулся. А она ему так, раз, в ответ бровью повела, объясни, мол. Он – да, мол, бровью. Подвел ее к одной большой доске и остановился. В этот момент уже Главный к ним приближался. Она в единый миг все глаза и губы по местам расставила. Застыла.

Принчипе указал на большую доску в рост и сказал так громко, чтобы Главный слышал : эюс патер. И повторил уже с поднятым пальцем – патер. Она не пошевелилась. Ей хотелось задышать, но она удержалась. Значит, права была няня, был у нее и впрямь отец. Так едва заметно развернулась, чтобы глаза поместить напротив отцова имаджинибу-

са, а спиной к Главному, и стала быстро смотреть. Патер висел высоко. Так чтоб его хорошо разглядеть, надо было голову задрать на неразрешительную высоту. Она голову держала прямо, только глаза вверх закатила так, что даже больно стало. И стала изо всех сил наблюдать и всматриваться, чтоб авось запомнить. Ведь сейчас уведут.

Уже и уводили. Что увидела, то увидела. Что запомнила, то не забудет. Лицо длинное, белое, волосы черные, сверху шапка-берет какой-то, снизу по груди шел мех, цепи золотые. Руки тоже белые, с пальцами. Держали рукоять. Глаза смотрели прямо, как у них дома не разрешалось. Будто сейчас рот откроет и заговорит. А кто патер? Что патер? Имени не сказали. А только эюс. И все. Понимай как хочешь. И увели быстро. Даже с Принчипом не попрощалась.

Уже в повозке лежа стала себе трогать лицо. Тоже вроде длинноватое. И на руки смотреть: ведь точь-в-точь белые. И цепи на нее по праздникам надевали такие же. Патер, сказали. А что ж теперь, что ей с этим делать. Она вспомнила собор, фасад, руку в вышине. Спиритус, от патера проистекавший. А ее патерова белая рука сжимала рукоять, и ничего из нее явственно не текло. Никакого понимания. А матер где ж? Никогда она матери своей не видела. Да и была ли такая? Няня однажды сказала ей в сердцах, когда она еще маленькой была, – вот ведь дурочка какая, вроде матери твоей. А будешь такой дурочкой, запрут и тебя, как мать твою заперли.

Вспомнила и снова забыла.

Сколько дней и ночей они так ехали, она считать перестала. А немало. Однажды посреди пути встали. Она спала. Проснулась. Никого. Ни арапок в ногах, ни собак. Одна она. Повозка стоит. Тишина. В щель посмотрела – день яркий в глаза рябит разноцветно. Чибис Второй знай себе твердит: эйя эрго адвоката ностра.

– Замолчи, Чибис, отдохни.

Она на него тряпку набросила. Из своей постели сама как смогла выкарабкалась. Вылезла наружу. Жарко. Над головой, как зеленые звезды, сосны, не как дома, а ярче. Сделала несколько шагов по камням. Лошади тут стояли, а людей никого не было. Тогда, раз никто не видел, задрала голову к соснам и чуть не упала. Справа от нее огромная гора упиралась прямо в небо своим треугольником, с одной стороны выпуклым, а с другой вогнутым. Поначалу вся зеленая, а туда выше и выше, все темнее и землистее. И на самом верху уже розовая. Влево посмотрела – там все вниз устремлялось. Под ногой захрустело. Туфля вниз поехала. Она отскочила и прижалась к горе, что вверх вздымалась, с другой стороны. По лошадиным крупам впереди прошла дрожь волной. Она опять посмотрела в ту сторону, где все опретью несло вниз. Там, на самом дне, все было другое, седое с серебром и как гребенкой расчесанное на ровные пряди. И из самого

низу оттуда опять те черные пальцы до неба тянулись.

Она пошла вперед между боком горы и лошадьми. Впереди, увидела, стоят вместе с Главным другие, между собой разговаривают. Перед ними, подальше, лежат на земле валуны, перекрыли дорогу так, что ни проехать, ни пройти нельзя. Пахло сильно и странно. Как когда у нее болело внизу, и кровь текла между ногами. Главный поднимал и опускал руки, вертел головой во все стороны. Таким она никогда его раньше не видела. Арапки тут же рядом на земле сидели. У всех лица были чужие. Про нее, видно, совсем забыли. А вот как упадет она вниз, что тогда. Кого они будут народу-то на праздники показывать. Она посмотрела в пропасть, и все в ней перевернулось навыворот: живот стал в горле. Она вскрикнула. К ней обернулись. Вдруг о ней вспомнили. Расступились. Тут она увидела, что между валунами там кто-то лежал. Не целиком, а по частям. Неясно было, что это. Но сразу понятно, что из-за того, что частями, все вокруг и стали сами не свои. Она все туда смотрела. Поняла, что оттуда и пахло. Вдруг увидела руки. Торчали между камнями. И голова на сторону, вся красным избрызгана. Тут к ней прыгнули, схватили, потащили обратно в повозку и вместе с арапками туда запихнули кое-как. Задернули плотно ковер. Слышны были окрики, шаги, храп лошадей.

Наконец повозка потащилась, не вверх, а вниз. Собак больше не было, куда подевались? Может, в пропасть попали? Голова ее была теперь внизу, а ноги наверху. Живот

так и стоял стоймя в горле. Но теперь ей было все равно. Она думала про руки между камнями, смотрела на свои, сравнивала, шевелила пальцами. Из глаз ее текли слезы. Она их трогала. Лизнула. Соленые. А потом она смеялась, пока никто не видел.

Подъехали. Встали. Было жарко. Деревья шевелили мохнатыми ветками, как будто что-то важное. Ее сняли. Поставили. Окружили плотным кольцом. Главный, доктор, капеллан, остальные. Повели по дорожкам. Горячий ветер по щеке, как будто кто-то дышал в лицо. Под тонкой подошвой туфель мелко поскребывало. Это было приятно. Слышно было, как лилась где-то струей вода, как когда ее мыли, и пахло пеплом и опилками. Но снаружи не остались. И никто их здесь не встретил. Сами вошли внутрь и пошли по галерее. Галерея была сходная, как у того Принчипе, у которого они не остались; там было, видно, не в замуж предназначено. А здесь, может, будет да. Галерея здесь была, как и там, открытая насквозь. Вдалеке, взглянула, и впрямь вода струилась. Однако не вниз текла, а била вверх столбом и потом уже обратно каплями на землю. Вокруг цветы розовые, и дальше деревья, но не как в лесу, а все разных форм, какие круглые, другие пирамидой.

Свернули.

Тут была дверь. Ввели и оставили ее с арапками. Потом пришли остальные и Чибиса Второго принесли. Было просторно. Шире, чем дома, и вверх больше места повсюду. Те ушли, осталась с одной арапкой. Стала прохаживаться взад и вперед. Было несколько соединенных вместе комнат. В сред-

ней стояла кровать под красным балдахином. В задней были окна, а в простенках между ними изображения, но не типа имаджинибус, а натуральные, без людей. Как будто сад, как тот, что она снаружи заметила. В центре его на стене вода столбом в небо бросалась и каплями в бассейн падала. Розы росли как настоящие, круглые и красные, как яблоки. Она приблизилась, хотела было понюхать и про себя, как няня, задышала от смеха. Ну не глупая ли! Стала дальше смотреть. Птицы там сидели молча на деревьях. У одной на голове был хохолок. Чибис, стало быть, если по подобию. Затем, видно, и нарисован был как настоящий. Только деревья ветками не шевелили, воздух своими листьями не гладили. А были деревья, как елочки, с мягкими колючками, как те, что она видела в дороге. Как это теперь уже давно было. Как давно она из дома уехала и когда теперь туда вернется, неизвестно.

Она все же потрогала стену там, где была нарисована вода, но было не мокро. Только штукатурка под пальцами засопела, и сразу в горле запершило. И зачем было на стенах все такое рисовать? Не героев, не святых, даже не людей, а вообще никого. Тот же по стенам сад, что из окон виден, только без запаха и ветра. Может, на зиму, впрок рисовали, когда ни роз, ни листьев не будет. Может и так. А все же неясно. И сколько времени они тут пробудут – тоже.

Ей захотелось домой. Захотелось потереть глаза и повсхлипывать, как няня. Больше всего захотелось няню толстую и красную. Сколько еще ей тут ждать, и чего, и кого? А

потом ведь еще и обратно. Через те же длинные дни и ночи. Головой то вверх, то вниз. А то, может, здесь ее оставят. Наверсегда. А няня там дома насовсем останется. А зачем все это, и не скажут никогда. Может, в замуж. А может и нет. Может, будут здесь, как дома, опять мыть, одевать, показывать правой ступней вперед, левой назад под юбкой. Здесь, а не там. Но точно так же. Или не так же. Кем она тут будет? Ведь, может, и не скажут. А там вместо нее кого будут показывать?

Она вдруг представила себе, что там дома, с няней, но без Чибиса Второго, осталась другая она, Непреложная, а эту, во всем с той сходную, сюда вместе с Чибисом неизвестно зачем привезли. И что одна из двух настоящая, а другая нет. А может и другая настоящая – обе может они настоящие, но по-разному. Как Чибис Первый и Чибис Второй. Как эта вода и ветки, и розы на стене, и они же в саду: там настоящие, а тут тоже, только не пахнут, не журчат. А так сохраннее, на зиму. А может, одна ненастоящая, а как тот портрет у Принчипе, а настоящую сюда. А может, настоящей и не существует вовсе. А может, где-то она есть, далеко, куда ей и не добраться, на высокой горе – вот где она настоящая. А тут обе они, и та она, что дома, и эта, что здесь, обе ненастоящие? А вдруг однажды они обе две между собой встретятся?

У нее голова закружилась, как когда она в детстве бегала вокруг няни. Вот дурная какая, кричала няня. Тогда еще бегать было можно. А так думать нельзя было и тогда. Думать не разрешалось. Думать можно было только втайне, как во-

дить языком по зубам – изнутри. А все остальное нельзя. Все совсем уже стало нельзя, когда у нее кровь стала течь между ногами и так сильно пахнуть, как там на перевале. Тут все закончилось, и стало, как будто она не настоящая, а как кукла какая-то. А лучше бы ей и быть куклой. Удобнее было бы сидеть, когда показывают. И ноги бы не отнимались, и не чесалось бы так сильно под белилами.

Тут вошли. Главный, доктор, арапки. Доктор быстро осмотрел, но только снаружи: лицо, уши, ноздри, глаза, рот, зубы, руки, ногти. Велели одеваться и ушли. Арапки одели ее во все черное, по полной, с цепями и лентами, и со всеми украшениями, которые кололись и тянули вниз своей тяжестью. Потом вся уже вот так одетая, она долго ждала. Из-за цепей и лент, и спереди и сзади, не то, что сесть, а и прислониться не могла. Арапка, та, что была ростом пониже, так сбоку пристроилась, что она на нее чуть облокотилась. Тут с Чибиса Второго покрывало на пол съехало, и он затарахтел на радостях – о клеменс о пия о дульчис. Только и знал он что матермизерикордию молоть.

Она ждала лицом к окну и саду. Там росли в небо такие же черные пальцы, как она уже видела в пути. В глубине виднелись горы, сначала зеленые, округлые, покрытые кудрявой щеткой, на вид жесткой, как если по ним рукой провести, такой щеткой ее терли, чтобы была белая. А дальше горы были голубые и совсем небесные, растворялись в облаках, но вместе с тем были они и острые, небо шпилями кололи. В от-

крытое окно сильно пахло, как никогда не пахло дома, чем-то теплым и клейким, медовым, смолистым. Чибис Второй почесался и мигнул ей своим злым правым глазом. Отчеканил – суспирамус. Почему его разрешили с собой взять, а не няню? Она бы сейчас наговорила ей всяких нелепостей, по сходству и подобию. А чего и с чем сходству? Кого и с кем подобию? Непонятно и, наверное, глупо. А без нее скучно.

– Как же, да ведь с папенькой подобие-то. А того звали Иво. А ив – дерево такое, тис, а как бы кипарис, а тут таких не растет. А только там.

А вот она и там, где тисы с кипарисами: Ивонна. Так ли впрямь звать ее? Как узнать? Ивонна деревянная. Древесная и-вон-н-она.

Вошли. Главный с капелланом. Без доктора. Пригласили жестом за собой следовать. Пошли по галерее: по одну сторону в сад открыта. Да она уже знала, не глупая. Далее по лестнице вверх. Узко, вдвоем не пройти. Юбку себе сама едва заметно держала. Ох, не упасть бы, только бы не на колени. Потом опять широко и светло стало. Шли довольно долго, через большие богатые комнаты. Потом одна поменьше комната, а за ней капелла. Она не сразу поняла, было темно. Свечи горели. В глубине алтарь, лампа, крест.

Ее подвели. Поставили. Сами рядом встали с двух сторон. Капеллан вынул из-под сутаны свой миссель, сверкнул золотым корешком, открыл книгу и рот одновременно и стал молитвы читать: про нобис, и так далее. Она встала по стойке,

глаза в горизонт, все как полагается. Потом, когда глаза к полутьме привыкли, она увидела то самое и чуть не вскрикнула. Но сразу опять: смирно. Так быстро выпрямилась и замерла, что чуть на это не упала, на которое там перед ней, перед алтарем лежало. Оно, тело, мужское то есть. Он лежал. На помосте наклонном. К ней вниз ногами в туфлях с пряжками. А от нее вверх лицом белым, как слепленным. Лежит, не шевелится. Глаза закрыты. Весь одет по полному параду. Она догадалась, что мертвый. Свечи вокруг потрескивают. Свет от них волнообразно колеблется. Волосы кудрявые убраны в прическу. Лицо такое особенное, в морщинах, но не слишком. Нос длинный. Брови вразлет черные. За ним стоят щиты и висит разное оружие, мечи и латы военные. На щитах что-то написано, не разобрать. И изображение на щитах, как в саду, таких же деревьев, как которые черными пальцами в небо. Тут она что-то такое подумала, но не до конца. Быстро пронеслось, не удержалось. Она запомнила, что о чем-то подумала важном, но о чем, потом уже не помнила.

Капеллан приблизился, взял под руку и подтолкнул ее так, чтоб она к лицу лежащего приблизилась. Она и сделала несколько шагов. Капеллан взял ее за руку и перекрестил, потом руку к губам приложил и ко лбу лица пальцами коснулся. Потом ее рукой до того лица лежащего дотронулся. Лоб был твердый и холодный. Тут капеллан и Главный взяли ее под руки с двух сторон и стали толкать. Она увидела,

что рядом с телом был возведен другой помост, короткий, обращенный к лежащему лицом. Ее туда направили и кое-как взвели. С юбкой было немало возни. Поставили, наконец, на подушку коленями. Лицом к мертвому. Пахло воском. Капеллан сложил ей руки как при молитве. Оба они с Главным встали от нее с двух сторон, и тогда распахнулась дверь. Она только успела подумать, сколько ей так стоять.

В капеллу стали входить люди. Не народ. Они останавливались перед ней и перед мертвым и то на него смотрели, то на нее, то опять на него. И опять по новой, и так каждый, по нескольку раз. Подумала и поняла почти сразу: сравнивают. Как она тогда, в пути, руки сравнивала, мертвые с живыми. Знают ли они, что она-то живая? Ей захотелось пошевелить чем-нибудь, чтоб знали, что живая, но это не разрешалось, нельзя было двигаться, когда показывали. Входили в капеллу не только мужчины, но и женщины, попеременно. Одежды были не как дома, хотя и по полному параду. Платья уж такие богатые, из тканей брокардов шитых немисленно, поиному, не как у них. Там, где зажимает, тут выше располагалось, потом шло пышно, свободно, в рукавах прорезы, а вокруг шеи все голо или покрыто как бы сеткой золотой, и нитка жемчужная непременно по горлу, и уж других всяких украшений, серег, колец немерено.

Одна такая стояла дольше других. Все стояла и стояла. Нестарая вовсе, как девушка. Ей-то что, не на коленях. Все постоят, глаза туда-сюда поперевают и назад, а кроме глаз,

что егозят, в остальном стоят смиренно, недвижно. А эта – иначе. Хоть и в струнку, ни лицом, ни телом не ведет, а все же чуть-чуть, как пламенем свечи подмигивает: плечи чуть вправо, носки туфель едва влево. И лицом как будто так же, мерцает. И не двинется, а видно, что живая. Вроде и как все, а иначе. Будто хочет поиграть.

Она взяла и вдруг в глаза ей посмотрела. Не напрямую, конечно, а так чтобы незаметно. А та тут же заметила и, раз, бровью. И голову скособочила, как Чибис. Опять же не совсем, а едва заметно. Однако все же явственно. Похоже как тот Принчипе старый делал. Мол, знаю, что нельзя, а такой тебе знак подаю. Тем самым тебе свидетельствую, что замечаю, что ты тут стоишь, хоть и застыла по стойке, но не мертвая, а вовсе даже и живая. А что неподвижная, так это, мол, потому, что так полагается. И опять: раз, чуть в бок, раз, в другой. Но респектно. Показывает, что дышит, и что знает, что та, напротив, дышит тоже. А сильно-то дышать ей нельзя.

Тогда она в благодарность за то, что та знает, что живая, взяла и разом подбородок вверх и сразу назад вниз. Незаметно. И мизинцем то же самое проделала. А та, поди ж ты, заметила. И тоже, раз, подбородок, два, мизинец. И тут у них как будто разговор пошел. Но и прекратился немедленно: ту потеснили. Черед ее прошел смотреть. Она повернулась на каблуках и ушла. Другая на ее место заступила. Потом другой. Но они только глазами крутили туда-сюда, с мертвого на

нее и обратно, как будто и она тоже мертвая тут стоит, воском пахнет и в морщинах. А может, так оно и было. Может и была она вся в морщинах. Может, и была она мертвая. А та, живая, дома осталась. А эту мертвую сюда доставили для обозрения и сравнения.

– Патер, – вдруг она услышала.

Кто-то это слово так негромко произнес. Она его мысленно про себя повторила. Патер! Скосила глаза на лежащего. И впрямь похож на тот Принчипов имаджинибус. Как все это вдруг сюда сошлось: и няня, и горы, и деревья с их черными пальцами, и она для сравнения, и Принчипе старый, и толстый капеллан. Патер ее, стало быть, Иво, вот он. Дочь его Ивонна, вот она. Дочь его, названная так по подобию с отцом.

Она стала теперь иначе смотреть ему в лицо. Посвободнее. Ее ведь патер-то. В отцу лицо, в белые его морщины и в черные его кудри. Чтобы понять. Вот все оно откуда. Вот все оно зачем взялось и сошлось. Вот откуда сама она. И рука, и Сын с фасада их собора, и бархатная туфля для целования – все это отсюда же происходило. Вся она отсюда произвелась, Ее Непреложность, из этой причины проистекла и ее форму приняла. А теперь причина эта тут мертвая лежала. А что с ней теперь станется? По сходству с чем и с кем будет она теперь тем, чем была прежде, там, дома? Где теперь будет ее дом? Где будет она жить. И что здесь про нее затеяли. Зачем с отцом сравнивают. Чего от нее здесь будут требовать. Где

и кем она теперь будет.

Она уже совсем не могла держаться на коленях, с этими пудовыми руками, сложенными перед грудью. Скосила глаз и поняла, что больше никто в дверь не входил. Только свечи лизали воздух своими языками, и что-то скверное жужжало над ухом и норовило влететь в глаз или в ноздрю. Конеч вроде был смотринам. Капеллан к ней подошел, запахло им неприятно; за ним доктор и Главный. Сняли с помоста, под руки снимали. Она выпрямиться не смогла. Скрещенных пальцев разогнуть не сумела. Одеревенели. Так все десять вместе и оставили. Больно было везде кроме ног, которых она не чувствовала. Подбородок же, напротив, дрожал, и зубы мелко клацали. Доктор стал растирать ноги, колени. Наконец и тут стало больно. Постепенно разогнули, но не до конца. Тогда ее прислонили, оставили, куда-то ушли, вернулись с чем-то, это был ковер, расстелили, положили ее сверху, понесли так в согнутом виде и вчетвером. Донесли до постели и туда повалили. Доктор арапкам велел раздеть и дальше тереть. Дал ей выпить капель каких-то. От них она заснула, а арапки все терли и терли.

Вошли наутро. Встали напротив. Одних она знала, тех, что с ней приехали. Другие новые. Все ей в лицо напрямую смотрят. Не церемониально, а с откровенным любопытством. Те, которых не знала, по сравнению с теми, кого знала, одеты иначе. Еще вчера заметила. Хотя тоже в черном, но неодинаково. При утреннем свете было заметнее. У мужчин верхнее короче и ноги сильно видны. И ягодицы, как у лошадей. Женщин не было, вчера же были, и той, что смотрела дольше других и так поводила бровью туда-сюда, также среди них не было.

Стояли молча и смотрели на нее. Она же сидела на постели в рубашке, непричесанная, но прямо, неподвижно. Смирно. Ноги, как смогла, пирамидой под рубашкой пристроила, чтобы не падать. Глаза сделала мутные, стеклянные, как всегда, когда показывали. Но раньше, дома, никогда в постели не смотрели. Подумала, вдруг и ноги будут раздвигать, как доктор. Но близко к ней не подходили. Ни доктор, ни другой кто. Потом, как-то разом от нее отвлеклись и стали между собой разговаривать. Как будто ее здесь вовсе и не было. Те, другие, незнакомые начали; свои при ней не говорили. Она прислушалась – латынь. А она-то ни бельмеса. Только и знает что молитвы да мессу-бельмессу, и ту понаслышке. Улавливала лишь отдельные слова. Выхватила патера, это понят-

но было. Уже привыкла. Филью тоже поняла. Альтера – да еще кое-что по мелочи. Симилитудине. Это слово ей больше других понравилось. Длинное, скользкое, как змея в раю, на изображениях, но и вместе с тем торжественное, как когда колокола дома на праздник звонили.

Так они между собой побеседовали, потом один из тех, чужих, здешних, ее Главному что-то стал внушать. Главный же ему не отвечал. Молчал как неживой. Что означало по опыту, что ему что-то не нравилось. А тот, что не свой, видно, был их здешний Главный. Матовый такой, темноволосый. Он все твердил: джардино, лашаре, старе ринкьюза. Но это уж была не латынь, а на другом каком-то языке, вроде как на здешнем. Похоже на их домашний, но не то же самое.

А свой-то Главный понимал ли? Под конец только в сторону так головой склонился и вроде заскучал. С чем-то видно таким фасоном согласился, но не потеряв при этом своего главенства и достоинства.

Потом все ушли. Но те, что не свои, прежде, чем уйти, каждый головой ей поклонился. Как бы отчасти, как когда ее показывали, а отчасти и как няня, с выражением. Она не знала, как ей на это отвечать, никто ей не объяснил, но на всякий случай бровью не вела. Неизвестно, может это испытание. Может быть, ее на неподвижность проверяли. Как когда шута ей противопоставляли.

Когда все ушли, ей принесли другие туфли надевать, как те, которые она в дороге носила. Поудобнее. В них можно

было не только сидеть, но и ходить. Принесли же не ее арапки, а две простые девушки, народные – плечи круглые, шеи голые, хотя у них здесь они и у дам голые были. Но щеки розовые, не как у дам, а платья под грудью подпоясанные. Говорят как те, что не свои, на том же на здешнем наречии. С выражением:

– Сьямо ле суге серве.

Серве, это она поняла под конец. Значит будут теперь ей служанками. Ей возьми это да и понравься. А что? И не страшно вовсе. Арапок-то ее куда дели? А и неважно. Обрато, наверное, в замок сослали. Да и ладно. Как-нибудь и без них проживет, особенно без той, что с глазом. Ей-то кроме няни, остальные все, как Чибис, переменны, одинаковы. Что Первый, что Второй: все равно. А эти-то новые девушки болтают как птицы, смеются, им все можно.

Ей стало приятно. Пусть бы эти две с ней остались, и вместе с тем няню чтоб сюда выписали. Они бы втроем счирикались. И с Чибисом в придачу, вчетвером. Няня бы, верно, сразу их разговору выучилась, стала бы с ними вести препирательства, так ли, эдак ли, глазами, руками, подбородками, бровями, клокотом и топотом. А эти с лентами под грудью времени не теряли: хоть и стрекочут, а уже одели ее как в дорогу, только с меньшими юбками, и, взяв под руки, повели.

Они шли опять туда вниз, галереей, широкой белой лестницей, аркадой, а у самого спуска, что это, что это? Заохать нельзя. Остановиться нельзя. Спросить нельзя. Но и не за-

метить невозможно. Стоят в рост два белых голых, то есть без всего, раздетые. А может, еще не одетые. С двух сторон стоят, как истуканы. А вчера она их не заметила. Прошли мимо. Не обернуться уже. За спиной они остались. В одной руке только арфу музыкальную запомнила, как у святой Кекилии. И на голове кудри, как у старого Принчипе. Понимай как знаешь. Поминай как звали. А как их звать-то? Кто они такие и зачем.

Вышли в сад. Девушки ей на своем птичьем наречии опять проворковали: джардино, мол, беллиссимо. Да она и сама видит, что не тот же это сад, который при въезде или из ее окна наблюдался, а другой совсем, с другой стороны, еще краше. Тут уже не фонтан, а целая гора была: вода по ней вниз струилась. Все как бы вместе и нарочно и нет выривывалось. И природно, и искусственно. Как те белые тела, что позади остались. Увидит ли она их снова? Ох, ох, так бы и засопела как няня, да нельзя. А может, перед девушками можно? У кого спросить? Но бровью не повела.

Стали прохаживаться. В кадках деревья. Листья темноватые, тяжелые, как воском смазанные. Золотые яблоки на ветках висят, тоже как игрушечные. Пахнет сильно, замечательно, с острейцей, так что даже в горле запершило. Чуть не кашлянула, но сдержала. Хоть и утро, а солнце дневное. Весь воздух им прогрет насквозь. Этот воздух такой теплый, прямо как вода. Ветки в нем шевелятся, как будто мокрые полощутся. Их движения медленные, плавные, округловатые.

Вода на горке блестит серебром. Вдали те же горы, что она уже видела: внизу зеленые, кверху голубые. А между джардиной и горами – те опять деревья черные в небо свои пальцы устремляют, на что-то указуют, кому-то угрожают. У нее в носу от всего этого необъятая защебило. И в груди как-то замирать стало, между горлом и животом. Видно от того, как эти виды зрения с теплым воздухом душистым переключаются. Девушки на своем попугайном щебечут: джелсомино, джелсомино. И руками в небо машут. А ей-то голову задирать нельзя. А вдруг в джардине можно? Никто ж не увидит. А что если девушки донесут. Главному расскажут. И даже если не донесут, решат, что она как все, и тогда ей прислуживать не станут. А она ж сама ничего делать не умеет. Или станут над ней потешаться. Нет уж, лучше как всегда, как положено. Неизвестно ведь вовсе – вот изменишь что-нибудь совсем ничтожное, а что это за собой потянет. Может все враз обрушиться и придавить ее, как та гора на перевале.

А та из девушек что порыжеватей вдруг как подмигнет ей, да как подпрыгнет и хватать что-то там в небе и обратно. И то, что схватила, ей под нос подсовывает. Такого с ней еще не бывало. Остановилась от удивления. Смотрит: ветка, на ней белые цветки в пять лепестков каждый. Как маленькая белая перчатка с пятью пальцами враспопырку. Рыжеватая ей цветок опять под нос сует. Что делать? Нюхнула вглубь. Нюхать-то не запрещалось. Ах так вот ведь что пахло. Девушка опять прочирикала ей: джелсомино. Так, выходило,

цветок прозывался. Она вдруг, раз, и взяла ветку в руку и стала уже сама его к носу прикладывать. Такого события с ней еще не случилось. Девушки стали смеяться. Донесут, как есть донесут. А вдруг и не донесут. А вдруг теперь тут все будет как-то иначе. Может, не совсем иначе, а капельку. Ведь все тут было иначе, и солнце, и воздух, и запахи. И вода текла по-ихнему, и сверху вниз, и снизу вверх. И ветки не так же склонялись, а помахивали. Все здесь от тепла как будто поживей дрожало. Ветки как руки. А руки как вода.

И зачем ее только сюда привезли. И патер там мертвый зачем в капелле лежит. И ее с ним зачем живую с мертвым сравнивают.

Под туфлями камушки крик-крак, крук-крик, теплые, наверное, если б под босой ногой. Но может и острые, а вдруг теплые да гладкие. Вот бы, вот бы. А те черные пальцы древесные вдали вон как верхушками важничают. Плавно, да медленно, как бы великаны с шапками. Такие корявые да медлительные. А эти что поближе восковыми листьями своими вертят. Фью-фьють. И все в своей прогретости блестит и движется.

Ей вдруг сильно захотелось снять туфли, даже эти полу-удобные, почувствовать ногами то же прикосновение тепла, которое уже у нее чувствовали лоб и щеки, и руки с тыльной стороны, как их складывать полагалось. Перед глазами трепетало множество крыльев, то повыше, то пониже: то белых, то синих, то прозрачных совершенно и лишь тонко обрам-

ленных серебром.

Они обогнули водяную горку. Тут пологий склон катился книзу, поросший совсем иными деревьями. Такого дерева, нет, не видала она никогда.

– Оливо, оливо, – запели девушки.

Видно заметили, куда она смотрела. Этого не полагалось, потому что это было, как если бы они между собой разговаривали, почти как на равных. Но смотреть в одну точку прогуливаясь ей решительно не удавалось. Джаржино сам все время менялся и ее к тому же приглашал. Все хотелось ей разглядывать. У деревьев этих, оливковых, стволы были словно каменные, а в камнях этих серых как бы морщины проречены крученые, верченые. Так что одновременно они и как морщинистые валуны, и как веревки сермяжные выглядели. И отовсюду словно бы торчали то лица с носами, то глаза, то руки, то коленки и локти. Из этих локтей и коленок росли кверху тонкие прутья. А на прутьях мелкие листочки колебались, туда-сюда, сверкали, как дьяманты. И все это шумело вокруг, как народ на площади, но только соразмернее. И оживляло собой небо. А оно, небо, кверху побелее было, а книзу такое синючее.

А девушки опять смеются, дергают ее за рукава и трещат: маре, маре. И туда вперед всем телом всплескивают. Она подумала: стелла марис. А в ветках такой стрекот, как будто мелкими пилками пилят. И от этого приятно. Только жарко уж очень стало. Вот бы раздели. Не как тех, конечно, белых,

у лестницы. А вот к примеру была бы она, как эти девушки, в легком, завязанном крестом под грудью. А груди у них на воле, круглые как яблоки. Дышат себе на воздухе, до сосцов все видно. Теплые, наверное. А ее затянуты, не подышать. Няня всегда в тайне послабляла. А арапки тянули со всех рук. Где теперь ее арапки, неизвестно. Как эти девушки будут вместо них справляться и что с ней будут делать? Оставят тут, отправят ли обратно?

Она повернулась и увидела Главного. Он шел быстро. Схватил из ее рук ветку джельсомино и сломал. Выбросил. Девушкам, не поворачиваясь, ледяным голосом полоснул: вьетато. А ей гаркнул: запрещается. И глазом правым указал, чтоб за ним следовать. Она и сама знала, что опять запрут.

Но не заперли. И даже напротив, на другой день опять в сад отпустили. А сами все куда-то пошли. Свой Главный и их Главный. Она его теперь узнавала, и он ей при встрече подавал тайный знак головой, что и он мол ее узнавал. Так у них тут, видно, заведено было. Так тот старый Принчипе, еще в дороге, с ней знаками обменивался, а совсем не как у них дома, не как свой Главный, который ей отдельно никогда знаков не подавал, а всегда так к ней обращался, даже когда никого рядом не было, будто кругом был народ. В сад она опять пошла с девушками, с теми же; они к ней теперь явно были приставлены. Хотя идти ей в этот раз было не так легко, как в прошлый, от сильной боли в животе, случившейся от новой пищи, которую ей тут есть дали. У этой пищи был другой вкус во рту и другая тяжесть потом в животе, в котором все начинало бурлить и урчать и полыхать огнем, и девушки ее ночью многократно сажали и мыли, и опять сажали и снова мыли. Но доктору не сказали, и она виду не подавала, а только не стала пока больше есть ничего. А не сказала с намерением: затем, чтоб он не стал ее опять смотреть и мять и раздвигать повсюду больно. Но главное, чтобы пустили снова в сад. И пустили. Видно было, что заняты другим, и что им не до нее. А ей же было главное – в сад. Очень ей там гулять понравилось. Опять прошли мимо

раздетых, и как она ни готовилась, снова момент прозевала и ничего толком, кроме их белизны, не увидела. В этот раз девушки по собственному почину взяли с собой в сад клетку с Чибисом Вторым. Там его на ветку повесили. Но он так разорался сальве реджиной, что они от смеха клетку тряпкой занавесили. Зря он хохолок свой растопыривал. Им только еще смешнее делалось. Она чуть сама не заохала. Едва-едва сдержалась.

После этого все было как намердн. Опять стали туда-сюда прохаживаться. Только теперь она много уже чего знала и понимала. И откуда брался джельсоминовый запах. И что дерево с каменными морщинами прозывается оливо. И что внизу склона расстилается море. Подумала: так бы бесконечно и ходила тут на солнышке. А там как же, дома? А и дома ли там было. А няня как же. Вот бы няню сюда.

Та девушка, что порыжеватее, вдруг запела. И другая стала ей подпевать и даже притацовывать. На своем, конечно, языке. Тут уж она ничего не понимала. Она встала там у балюстрады, неподалеку от водяной горки. Так пристроилась, чтоб ее незаметно обрызгивало. И стала думать, вот бы никто за ней не пришел, вот бы ее с девушками позабыли. Она стала бы жить в этом саду. Превратились бы ее белые руки в такие же смугловатые, как у девушек. И сама бы она до такого легкого состояния стала раздетой.

Тут ее кто-то за рукав тронул. Она обернулась. Смотрит, рядом стоит дама молодая, она сразу узнала. Это была та, что

на нее смотрела специально, когда в капелле для сравнения показывали. Дама была именно что молодая, почти как девушка. Лицо и вся фигура были у нее подвижнее, чем дамам положено, даже она как-то покачивалась и двигала плечами, и почти что улыбалась, а уж это было совершенно невозможно. И смотрела как-то весело. Но при этом было ясно, что была она дамой.

Вдруг она еще ближе шагнула и заговорила. Странно было, потому что все, что она говорила, было сразу же понятно, без усилия и промежутка времени. Она говорила как дома. Не как капеллан. Но и не на нянином. То есть почти как на нянином, но повозвышенной. Как бы посередине. Сказала сперва наперво, что зовут Изабеллой.

– Изабелла приветствует Ивонну.

Так сказала и поинтересовалась, как та себя чувствует. Знала, значит, что ее Ивонной зовут. Она никогда так раньше ни с кем не стояла и не слушала, и не слышала, чтоб ее имя произносили, как будто его так же легко сказать и так же легко услышать, как любое другое слово. Она и стояла, и слушала. А та продолжала. Говорила она внятно, красиво. Так длинно фразу заводила, издалека, с акцентом, с выражением. И подбородком, и рукой себе немного помогала. А как же она-то с ней будет разговаривать, как ей будет отвечать?

Сказала, как смогла, что чувствует себя удовлетворительно, но споткнулась посередине этого длинного слова. Хотелось как-то получше выговорить, как-то с вывертом. Но как

– не знала. А та, как будто только тем и занималась с утра до вечера, что беседы вела.

– Давайте, Ивонна, пройдемтесь вон до той скамьи, что впереди аллеи виднеется, и на нее отдохнуть приопустимся, а там и побеседуем.

Так и сказала – побеседуем, то есть двусторонне. Девушки разом отступили в тень, и их одних оставили. Они до скамьи прошлись и на нее присели. Она вообразила себе Главного. Вот он сейчас как из-под земли возникнет. Вырастет как черная гора, и их беседе конец. Но он не возник и не вырос.

– Как вам, Ивонна, наш сад показался, все эти растения, фонтаны и статуи?

А она опять односложно. Мол да, красота, беллиссимо, и точка. А потом вдруг в растерянности услышала свой голос, спрашивавший, как, мол, вам известно, что меня Ивонной зовут. А та:

– Что такого, право, удивительного вы в этом находите? Все это знают. Да и как же возможно не знать.

Они ее, Ивонну, дожидались, не кого иного. Она подумала: вот они знали, а она сама – не так чтоб наверное. Только няня и знала, но скорее догадывалась. И опять голос ее сам собой вывел, от остальной нее отдельно:

– А как так случилось, что вы прекрасно говорите на нашем тамошнем, домашнем наречии?

А та враз:

– Так ведь это мой папенька так всегда со мной изъяснялся. А мой папенька, он же и ваш также – Иво, блаженной памяти Великолепный. А мы с вами, прекрасная и пресветлая Ивонна, ангел лучезарный, являемся сводными сестрами. По папеньке. Что ж вам этого никто не рассказал?

Но она отвечать не стала. Только отвернулась и принялась, как учили, смотреть в горизонт и тайно языком водить по зубам изнутри. И повторять про себя: сестрами сводными, по папеньке, не сказали.

– Ивонна, Ивонна, что задумалась? – та спросила и взяла ее вдруг крепко за руку.

А это уже совсем было невиданно. Что она. Кто она. Сестра эта. Что хватает ее за руку? Как можно? Разве это разрешается, так запросто говорить, трогать, смотреть в глаза и называть по имени. По секретному, по нянинному, по внутреннему ее имени. И как можно так двигать лицом и вертеть головой в разные стороны. Так можно только девушкам, народу, живущему ниже, у подножия замка, в городе и в деревнях. А тем, кто наверху, кто в замке, так запрещено. А кто не просто внутри замка, а еще и на самом его верху, в его башне – тем и вовсе подавно нельзя. Потому что они – отдельно. А иначе как? Иначе нет разницы. Иначе как знать, кто где. Как разделять на верх и низ, как разграничить на здесь и там, как не спутать нас с ними. А нас-то, нас все-то раз-два и обчелся, одна она поди, Ивонна-то, и есть. Такая же единственная как самая верхняя верхушка соборного

шпиля. А такой единственной разве имя брэнное, преходящее, всеобщее носить пристало?

А эта – вот тебе и на. Ни сном, ни духом. Она глаз скосила и увидела, что та улыбается. Вот и подтверждение выходило, что не знает она, что дозволено, а что нет. Она, стало быть, необученная. Невоспитанная. Вот ведь улыбается. А нельзя. А раз ее не научили, значит она ниже. А значит не сестра. А из этого проистекает, что и не дочь. Но при этом говорит-то как красиво. Что все это? Как понимать? Изабелла – что за имя собственно такое. По какому такому подобию? И что теперь им обоим предстоит, одной и другой, этой и той?

– Изабелла, – она вдруг сказала. – Кто тут есть кто? И зачем это затеяно?

А та на нее посмотрела, напрямую, и опять по руке погладила. И сказала:

– Все скоро само для вас прояснится, сестра дорогая. Вы не мучайте себя сомнениями. Скоро станет все для вас понятным.

Тут вдаль дорожки показался из-за водяной горы Главный. Она встала и пошла ему навстречу, не оглядываясь, и только за спиной услышала тихое эхо, как будто сам воздух вздохнул:

– Ивонна, Ивонна, сестра моя, верь мне, верь сердцу своему.

Не обернулась. Главный все видел, и улыбку, и взгляд, и руку. Увел в комнаты. Приказал раздеть. Доктора. В постель

среди бела дня. Девушки донесли. Потом сажали, мыли, терли. Оставили одну, она спала долго, весь день, весь вечер, всю ночь. Иногда только ее будили и давали ей пить горько-кислое. Она пила и опять засыпала, без снов, как в подземелье.

Сколько дней она так проболела, неизвестно. Однажды проснулась – пить не принесли, а стали одевать. Когда одели, девушки ушли, оставив ее в одиночестве. Что делать, прошлась по комнате на неустойчивых еще ногах, видно долго пролежала. Встала у окна. Там клетка Чибиса Второго. Дайка посмотреть. Сняла тряпку, а там его попугайное тело лежит, крылья разноцветные крестом, клюв открыт, глаз белый, чашка для воды сухая, и корма нет. Забыли про него, пока она спала. Арапок-то услали, а девушки не привыкли и забыли. Вошли они и, как увидели, куда она смотрела, тело с крыльями приметили, заголосили: морто папагалло, морто папагалло. А вторая из них, не та, что рыжевatee, а другая, стала хлюпать из носа, точь-в-точь няня, а что хлюпать-то – поздно. Видно, что дура. Народ так горюет, из носа у него противно капает.

Вот отец ее умер, а кто он был – она не знает. Только и знает, что Принчипе. А тот человек, в горах, под скалой, тоже умер. А умер без имени. Как бы его и не было вовсе. Чибис вот умер, так хоть имя от него осталось. Через имя он будет повторен, и так будет всегда. А самый попугай вот этот, тело это птичье единственное, что перед ней лежит в виде мусора, умерло и нет его больше, как его ни называй, хоть бы и папагалло, по подобию иль нет. И она, что ли, умрет. И ее

грязной тряпкой забудут, не напоят, не покормят. Она умрет своим телом, в клетке, руки крестом. Будут потом мертвую показывать. А кого рядом-то посадят сравнивать – это неизвестно. Может, сестру Изабеллу.

Тут постучали и вошли. Это были оба Главных, свой и другой. Свой, как всегда, был как кукла черная, застылая, а тот – поживее. Встали перед ней фронтом, она в ответ окаменела по достоинству. Заговорил свой Главный. Медленно, с остановками. Никогда он ей так, прямо в лицо, не говорил. А тут стал.

– Ваша Непреложность, – сказал, – прибыла сюда в качестве прямой наследницы Принчипе Иво Первого. Ваше право на это прямонаследство подвергается однако здесь временно усомнению, которое вскоре разрешится, и вы станете здесь править, как ранее это делали у себя дома, на родине. И доведете вы здешнее княжество до такого же блестящего и цветущего состояния, как то, в котором ныне находится ваше княжество предыдущее. И народ здешний так же вас тут станет обожать. Вы тут и останетесь, а я вернусь обратно и буду, от вашего нетленного имени, управлять там наилучше приставшим мне способом. Ибо являюсь двоюродным братом князю Иво Первому, покойному, а вашей Непреложности двоюродным прихожусь дядей.

Он замолчал, и было видно, что он отнюдь не надеялся, что она что-то понимает, а просто говорил потому, что за чем-то так было прилично. Что требовалось ей все это вы-

сказать, перед тем, другим. Она и впрямь мало что усвоила, потому, что там много всего сразу было. Но одно, главное, услышала отчетливо – что ее здесь оставляют. Она снова, как тогда в саду, услышала как ее голос сказал:

– Можно ли мне сюда няню?

Другой Главный улыбнулся ей в ответ одним глазом. И сказал:

– Ваш батюшка умер чрезвычайно, на охоте. Упал с лошади. Он не оставил ни завещания, ни наследников по мужской линии.

Этот тоже, как Изабелла, говорил на ее идиоме, и так же витиевато. Но иным манером, на другую музыку, как бы распевая, и промеж понятных, некоторые слова свои ставил, здешние, непонятные.

– Вы, Ваша Непреложность, – продолжал, – дочьрю приходите Иво, урожденной от той неразумной Принчипессы, которая явно и тайно недоброе против супруга своего замысливала, и по той причине была им самим от себя отослана, с расторжением брака, самим Папой апробированным, и помещена в монастырь, подальше и от двора, и от Вас, дочери ее. А Вы, Пресветлая, посажены были отцом вашим во главе его тамошнего княжества, почти что, можно сказать, с вашего рождения. А Иво Первый потом сразу вернулся в это свое любимое княжество и здесь поженился на иной Принчипессе. Она же была вдовицей, и у нее имелась от первого ложа дочь малолетняя Изабелла. Иво и удочерил Изабел-

ду эту целиком и полностью. И за то удочерение свидетельствует у нас сакро-святая бумага от имени и за подписью выше процитированного Папы Римского составленная. Так что это Иво Великолепным, покойным, Изабеллы нашей удочерение никакому разумному сомнению подвергаться не может, а должно только прямо собой означать его, Ивово, намерение передать Изабелле бразды правления здешним княжеством. Тем более, что Принчипесса Изабелла была падром своим напрямую воспитана через посредство его придворных леттерати и через мое собственное, если угодно, посредство, обучена и научена, и истончена многими науками и языками, без которых нет возможности править этим блестящим княжеством, с его знаменитым двором и академией, да с библиотекой, славной во всем белом свете.

И все это Главный трещал, понятно, не ей, а другому Главному, хоть и повернут был к ней, и смотрел на нее, а к тому только щекой стоял и ухом наклонялся. Так они через нее – к ним ан фас сидящую – меж собой общались. Первый был якобы за нее и ее защищал, а выглядел недобро, как гора нависал, и было под ним скользко. А второй словно был против, гнал ее восвояси, а напевным своим разговором и глаз улыбкой был ближе к няне. Но тут уловка и заключалась, тут скандал и был. Это у них тут, видно, такой срамной тон был заведен, как почти народный, чтоб ласкать то рукой, то глазами. А потому, что рангом они были ее ниже. Потому ее Главный сюда и привез, и захотел оставить, а сам в их старый

замок вернуться, в серую пыль под колесами, и чтоб его самого там на площади перед собором народу показывали. И чтоб ногу выставлять, и чтоб народ у него пряжку целовал. У него-то получится. Он и смотрит как каменный. И стоит не шелохнется.

А она что ж, ниже ль, выше ль их по профилю да по происхождению, а в этом здешнем месте и осталась бы с великим удовольствием. Даже не знала, показывают ли тут Принчипов народу. Только все одно. Зато и сад-джардино, и дерево оливо, и джельсоминовые ветки в небе можно рвать и нюхать, когда никто не видит. И все на теплом ветерке дрыгается, и жужжит, и моргает. А если не показывают, и совсем хорошо. Очень ведь долго сидеть приходится, не двигаясь. Потом ни ног, ни рук не чувствуется, трут их трут, не разотрут, а больно. Спину тоже, и затылок. Хотя там няня, конечно, ей в бок похохатывала.

Свой Главный снова заговорил. Ей бы присесть. Но видно было, что эти два, профиль в профиль, не все еще между собой выяснили. Он-де – сказал и своей чернотой другого словно придавил – очень сильно удивляется, как такое только можно себе вообразить, чтобы против единокровной наследницы самозвано выставляли в оппозицию фигуру удочеренную и тем самым импостированную. И что если самый единокровный принцип наследования будет теперь подвергаться сомнению, от отца к сыну или за неимением оного к дочери, то в таком случае придется им всем принять во

внимание и его собственное присутствие в качестве мужского ближайшего родственника. Сказал, рот захлопнул, как дверь, и опять окаменел.

В ответ ему другой Главный издалека начал, как бы даже с удовольствием. Будто он заранее настроился на длительное препирательство и теперь тому радовался, что все по его прогнозу шло.

– Древние римляне были в области права нашими предшественниками и являют собой главную нашу модель. В этом, извините, сомневаться не приходится. Так? А раз так, известно нам из древней римской истории и из римского права о наследовании, из этого славного примера и источника, что наследовать должен не абы кто, а достойнейший. А кто нам в рождении дан – сын ли, дочь – это и есть абы кто. И недаром принято было у них adoptione. Это с тем заведено было, чтобы патер фамильяс мог себе не случайного, а истинного преемника назначать – не по животному сходству, а по духовному, не с лицом по сходству, а по добродетелям. Как нам это показывает история Августа, Цезарем усыновленного.

Свой Главный, все так же в профиль стоя и на того не глядя, рот свой распахнул, как окно в темную ночь:

– Древние римляне, – сказал, – это уже теперь давно было. И недаром ваш Рим пал, и варвары его растоптали и на части разодрали за его грехи. И как только может христианский двор на Рим этот поганый как на пример свой оглядываться.

На этом запнулся. Другой же не стал ждать, что тот вос-

прянет, а снова завелся, и как будто бы к ней обращаясь, стал пространно цитировать про суи юрис. Она не слушала, а только думала, как бы присесть. Еще думала, глядя на этих двух высоких и важных как вороны, одного каменного, а другого помягче, одного родственника ей, как выходило, но страшного, а другого чужого совсем и опасного, что ни тот ни другой ее знать не знают, желать не желают, жалеть не жалеют. Что одному она мешает там, а другому тут. И что, Рим не Рим, а лучше б ей пропасть, умереть, улечься там в капелле рядом с мертвым Ивом, мертвой с ним по подобию, и сразу настанет мир и покой.

И в тот самый момент, как она это подумала и себе представила, умирать ей расхотелось. Хоть бы потом, попозже, если надо, тогда ладно, но только не прямо сейчас, не сразу. А пока тут еще побыть. Подышать немного. В саду джардинном нагуляться, джельсоминов понюхать, с Изабеллой лучше познакомиться. Отца-то она не знала. Да и матери не знала, а только няню, да арапок, да черные тени, да доктора, чтоб мучить, да шута – усыплять гримасами и выкрутасами. А эта отца ее знала. С ним, как с ней давеча, по джардине прогуливалась. На скамейке с ним сидела. А то поди и к морю они вместе за компанию спускались. Он к ней учителя приставил, воспитывать. Часть себя в нее вложил. Вот бы с ней еще повстречаться, послушать, что она расскажет. Тоже что-то ей в ответ сказать неожиданно.

Ей захотелось вновь на отца посмотреть. Вдруг что увидит

такое, чего прежде не заметила.

– А, – сказал ее голос, и опять она ему удивилась, – можно ли пойти опять в капеллу, на папеньку посмотреть, или его нет уже там? Похоронили, может быть? Уже в склеп под плиту положили?

Главный сразу же окаменел, хоть его самого хорони немедленно. А другой Главный, коварный, но нежный, глазом ей, как Чибис, моргнул, как будто ему то, что она произнесла, понравилось. Говорит:

– Сударыня Светлейшая, то, что вы другого дня, по приезде вашем сюда, в капелле созерцать изволили, не есть тело человеческое, ниже отеческое, которое имеет быть давно захоронено, а есть его имаго, в точности исполненное нашим здешним знатным художником. То есть симулякрум, выставленный ради похоронной помпы.

Она удивилась, даже присесть расхотелось. Глазами просит, чтобы продолжал. А тот вдруг такое учудил, несусветное. К ней подошел, тронул за плечо легонько и, поклонившись таким сладким образом, жестом пригласил с ним вместе проследовать. Мол, пойдете, принцесса, в капеллу. И только, раз, мельком, по другому Главному глазом прошелся. И она тоже, раз, уже мимо идучи. А что она на его лице увидела, было как дьявол с соборного тимпана. Тогда поняла, что ей несдобровать. Но уже делать было нечего. Словно она своим вопросом колесо какое повернула, и оно покатилося в ту сторону, и уже не остановить его, катится, при-

миная под собой траву и пыль. А она только на это колесо смотрит и думает, как же все так случилось.

Последовала за тем Главным тихо, на мысочках, стараясь каблуками за плиты не цеплять. Идут по галерее, а он ей быстро шепчет:

– Папенька ваш был великий человек, как герой из древности или как император римский плутарховый.

Она, шепотом:

– Что такое, разве плут был папенька аховый?

А тот улыбнулся ей, как бы полюбилось ему это. Говорит:

– Принчипесса, дело не в подробностях, не плут был папенька ваш, а как есть уомо иллюстрато. А проиллюстрировал себя не как некоторые тираны или победами в войнах, а своей любовью к миру, к наукам и искусствам. Библиотеку собрал небывалую, ученых, живописцев, скульпторов при себе держал, кормил их и поил. Книги давал переводить с одного языка на другой. Сам на многих языках изъяснялся.

Вошли в капеллу. Тот сам стал зажигать большие желтые свечи. Озарилось. Задрожало. А он продолжал:

– Вот один-то из этих художников его имаго и сделал, и в костюм его подлинный одел. А лицо сделал по маске, из воску пчелиного. А маску сделал из гипсу. А снял маску напрямую с мертвого лица, на него материал наложив. И тело остальное взято по пропорции, в точности.

Она вновь увидела большой, застеленный чем-то темным

помост, на нем лежащую фигуру, длинные тонкие ноги, туфли с пряжками почти как у нее. Чулки. Камзол короткий, лента, ордена. Потом желтые руки с пальцами в перстнях. И руки, и руки из воску? По модели или как? Вскарabalкалась глазами до лица. Опять отметила глубокие морщины, нос и тонкие губы. Брови холмистые. А только как все это понимать. Как, к примеру, смотрели глаза. Как рот открывался и как закрывался. Какой звук был у голоса. Как он выражался, как свой или как здешние, с припевом или с акцентом. Подошла к лицу поближе, снова стала вглядываться. Что-то надо ей тут было. Что-то в этом лице заключалось. Какой-то тут знак находился. Смотрела, смотрела. Стала тихо про себя повторять: патер, мой патер, обрати на меня свое внимание, не останься ко мне равнодушен, защити, не выдай, не дай смертью погибнуть дочери твоей, дай сначала ей в джардине вволю нагуляться.

Подняла глаза. А тот Главный вдруг как на нее взглянет, да как ахнет, да возопит от неожиданности.

– Вы, – говорит, – Синьора, представляете собой чистое сходство и подобие. Вы и есть имаго папеньки вашего. Хотите узнать его выражение привычное, так ваше с точностью, в настоящий, подлинный момент, с ним и совпадает.

А как это понимать, она не знала, никогда себя не видела. Ей это странно даже показалось, чтоб падре, здесь лежащего, через самую себя живым представлять. А тот опять к ней приблизился, поклонился и из капеллы неспешно, но твер-

дою поступью вывел.

Пошли в соседние апартаменты. Он достал с полки большой круглый диск полированный. Говорит:

– Вот, спекулум.

И держит перед ней двумя руками, видно, что тяжелый.

– Вы в него посмотрите и увидите вашего патера живым.

Она посмотрела. Застучало у нее в животе, как колокол на соборной башне. Кто это? Что? И как же теперь. Лицо длинное, бледное. Нос такой. Губы тоже. Брови холмисты. Глаза крупные, с разрезом к вискам. И такие светло прозрачные, как виноградины на солнце. Тот опять за свое:

– Вы, Сударыня, точный есть его симулякрум. А еще, знайте, что вы небесной красоты красавица. Понимаете ль, что это означает? А особенно редко, чтоб волосы черные, а глаза, как у белокурых, зеленые. Это данная вам свыше аномалия. Папенька ваш был такой же красоты. Поэты его на разных языках описывали. И в его виноградных глазах и иссиних волосах миравилью прозревали, знак отдельности и прямо уникальности.

Она все в спекулум смотрела. А тот как завелся:

– Зачем только ваш доктор родинки ваши срисовывал. Как вас ввели, так сразу ясно стало, что квалис патер, талис филья. Как вас вместе рядом поставили, так словно матери и не бывало никакой. Один патер и участвовал в зачатии. Так несмешанно вышло имаго, как бы только Приничипе наш Иво сам Единый на матрице отпечатался. Без Другого, и да-

же без Промежуточного.

Он так все говорил и говорил, про такие вещи. Ей казалось, что он словно бы пьянел от своих же слов. Вместе она их не понимала, а только по отдельности; поняла, что она – как есть она, та же, что и вчерашняя, – а вдруг что-то означает, что лицо ее, что волосы ее, что глаза ее открытые, вместо тех закрытых, кому-то интересны, даже нравятся. Ей вдруг сильно захотелось что-то сказать или сделать. Сильно, громко, ярко, звучно. Ох. Ох. Заквохтать как няня, закружиться. И даже еще пуще. Закричать. Она положила спекулум, посмотрела вокруг себя и медленно, тихо, но отчетливо расмеялась.

За ней пришли и увели ее. Были девушки и доктор. Сажали, мыли, смотрели. Доктор трогал. Ушли. Она присела у окна. Стала представлять себе, как пойдет однажды в сад, не в этот, видный из окна, а в тот, с другой стороны, с видом вдаль; как станет прогуливаться там по дорожкам, как обойдет водяную горку и дойдет до той скамьи. Сама присядет, одна. Та, другая, потом подойдет. Сядет рядом. Они станут вместе смотреть на катящийся к морю склон, на оливковую рощу, на серые стволы и зеленые ветки с серебряной припорошью. На синюю гибкую спину лагуны. Так будут сидеть беззвучно, не глядя друг на друга, только внутри, про себя зная и помня, что другая рядом. Ухо к уху. Щека к щеке. Одна и другая. Ивонна и Изабелла. Дочь и дочь. Сестра и сестра. Одна – по крови, отпечаток, имаго. А та – по выбо-

ру, по адоптьо. Которая из двух настоящая. Которая ложная. Как узнать? Да и можно ли. И надо ли.

Стала мечтать, как потом они две станут беседовать. На этом, на ее языке. Не на нянином, а на хоть и понятном, а таком длиннословном, напевном, со столькими многими в нем словами, что все, что ни пожелаешь, можно на нем выразить.

А только пустят ли снова в сад, неизвестно. Небо из синего стало зеленым, потом серым. Деревья заметались ветками, будто всполошились. Упали первые крупные капли. Вот и дождь, это было как дома.

Весь день до вечера ветер урчал и рычал, рыгал и ругал, гнул, мчал, мочалил, мочил. Бился в стекла. Было темно, сыро и страшно. Только выюн, выросший без спроса на оконном переплете, выпустил свои трубки, голубые, как небо до дождя. Сколько их, этих трубок? Раз, два, три, много, дальше она не умела. Про нее опять забыли. Где-то там живут отдельно. Ходят, между собой разговаривают, сравнивают, спорят. Решают, что с ней делать. А она тут сидит, как в темнице. Одна – забытая, как раньше. Даже света не зажгут. Только в камине дрова трещат. Она встала, сама пошла к камину, нашла, где лучины были уложены, выбрала подлиннее. Подожгла и враз засветила толстую желтую свечу в канделябре, который тут же рядом помещался. Посмотрела на еще не потушенную лучину. Вот бы сейчас поджечь этот дом. Пусть вспыхнет, и пусть они в нем сгорят. Дотла, все. И оба Главных, и доктор, и капеллан, и Изабелла, и желтый па-тер на помосте. Пришла тут очередь подумать: и Ивонна. И опять ей стало странно. Бросила лучину в камин. Жалко стало так скоро с Ивонной расстаться. Она ведь с ней только познакомилась.

Взяла канделябр с зажженной свечой, тяжелый оказался. Едва подняла. Поставила перед окном. Рядом кресло подвинула. Вдруг кто оттуда, из внешнего мира, из сада, издале-

ка увидит, удивится, догадается о ней. Села против черного окна, против канделябра и свечи. Устроилась и подняла глаза. И вдруг увидела в окне лицо. Она его не сразу узнала, а только потом. И как же было не узнать. Лицо-то ведь ее, собственное, Ивоннино. Видела уже, длинноватое. В окно бледности было не видно, но она помнила. Нос – так, рот – так, глаза – так. Повернулась головой вбок и в другой, повертела еще. Вот она, выходит, какова. Вот что другие видят, когда смотрят. А она прежде и не догадывалась. И не то чтоб та, в окне, ей нравилась, а приятно было, что существует. Что здесь она, в комнате, и что там она, в окне, с другой стороны. И что эти две как-то связаны, и что есть у них теперь и имя, и лицо. А через лицо можно проверить, удостовериться. Посмотреть и – что ж, верь не верь, а вот она. Вот оно – доказательство. А сложишь лицо с именем, и пуще получалось: вон она – Ивонна.

Вдруг все внутри у нее успокоилось. Пусть будет, как будет. Неважно, а важно, что есть у нее это имя и это лицо. Сейчас, тут, в эту минуту. Что она в наличии имеется, Ивонна – с этой формой своего образа. А раз она сейчас есть, значит была. Вот отца нет, и не будет больше, а раз есть лицо и имя, ну и руки тоже, значит был он. И это уже не забудется. Через имаго в капелле, через ее, Ивоннино лицо, другое его имаго, которое вон там сейчас, в окне. Что есть – то было, а что было – то навек останется. А значит и будет. В этом – будет – было просторно, там было место для нее.

Вошли оба Главных. С ними доктор, капеллан, как мухи слетелись. Здешний Главный первым обратился. Она обрадовалась его голосу.

– Светлая Госпожа и Принцесса, и такое и прочее, вышло наше общее решение, что будет здешний художник самый лучший писать с вас портрет. Это мы постановили, ибо изображение ваше нужно нам для помещения в галерею здешнего блестящего двора. Так у нас заведено и полагается. А заведено было папенькой вашим Пресветлым.

Тут свой Главный ответил, что без мнения доктора такого казуса случиться не может, а что доктору долго потребует-ся изучать ее состояние, как курпуляцию, так и разных спиритов и темпераментов вдоль по телу перемещение. Потому что вовсе никогда не известно заранее, какие при снятии портрета от тела эйдолы будут отслаиваться и как это на ее хрупкое здоровье повлияет.

А их Главный сказал на это прямо и строго, что при их дворе гостил, и не раз, сам Папа Римский, и что его безо всякого обследования их живописец писал, и ничего от Папы не отслоилось, или немного совсем, а портрет этот так Папе понравился, что он заказал с него копию составить, и теперь один такой портрет имеется здесь в галерее, а другой, подобный, у Папы в Ватикане, в его внутренних покоях. Так что если этот Главный, будучи у них гостем, пока суть да дело не решилось, не желает их порядков признавать и их заведений уважать, и следовать их привычкам и узусам, а страшает их

вместо этого казусами, то будут они писать письмо самому Папе Римскому.

Главный свой стал тут просто зеленым, но каменной бровью не повел, а только рот распахнул и каркнул, что ладно, мол, если так, пусть доктор наскоро осмотрит на предмет эй-дол. А капеллан пусть тогда постоянно при этих сеансах присутствует. А другой ему в ответ, что, мол, капеллану там делать нечего. А на предмет приличия, будет там бессменно находиться музыкант их придворный. Тот на музыканта уж не стал отвечать.

Так насилу они согласились. И было видно, что между Главными война началась не на шутку. Доктор быстро ее посмотрел, а здешний Главный, отвернувшись, на него тем временем покрикивал, чтобы тот мол поторапливался.

На другое утро за ней пришли.

– Извольте, – говорят, – за нами теперь же и следовать.

Пошли галереей на другую половину. Тут была зала с большими окнами. Все окна вообще тут были гораздо большими, чем у них дома, а в этой зале и того еще раскрытее. Светло. Увидела, что в центре залы стояло как бы на пьедестале кресло с высокой спинкой. Ее усадили. Это ей было знакомо. Это она понимала. Тут вошел один, устроился перед ней на низкой табуретке. Вошел другой, нестарый, встал от нее сбоку, так что она к нему была щекой и ухом. Глаз скосила, видит – он спрятался за доской и давай на ней что-то быстро вычерчивать, то по прямой, то кругами. А время

от времени из-за доски выскакивал и в нее так пристально, стремительно вглядывался, что она поначалу пугалась, что и впрямь лицо с нее сорвет, и будет она снова безликая, как раньше. Но не срывал, а дальше продолжал. Она побоялась, да и перестала. А тот, что на табуретке, музыкантом объявился, стал на виоле тренькать. Она сидела как статуя, как свой симулякрум собственный. Это уж ей объяснять не надо было – знала, как сидеть. А сколько так сидеть, не сказали.

Тут за спиной ее случилось движение. Шум шагов послышался и говоренье. Но на здешнем, так что она не понимала. Только отдельные слова. Слышала, как женский голос, низкий и приятный, произнес:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.